

мысла. Но мне ничего не говорят такого рода религиозные объяснения: они подобны паутине — сколько умов, увязая в ней, находят умиротворение, но моя мысль прорывает ее насквозь и повисает в пустоте. В моих глазах таинства веры обрели поэтичность возвышенной аллегории, которая, как светлая радуга, парит над полем жизни, вечно далекая, вечно ускользающая от всякого, кому вздумалось бы достичь ее, чтобы закутаться в край ее плаща.

Но увь, мой почтенный друг, точно так же ускользают от меня и земные понятия. Не знаю, как и описать эти непостижимые мучения духа: стоит мне протянуть руки, как ветвь с желанным плодом уходит вверх, стоит приблизить жаждущие уста, как вода с журчанием отбегает прочь. Иными словами, болезнь моя заключается в том, что я утратил дар последовательно мыслить и связно излагать.

Сначала мало-помалу я сделался неспособен рассуждать на высокие либо отвлеченные темы и пользоваться при этом словами, которые не задумываясь, по десятку раз на дню произносит всякий. Я испытывал необъяснимое раздражение от одного произнесения слов «идеал», «душа», «тело». Что-то внутри меня мешало мне высказываться о делах при дворе, прениях в парламенте или о чем-либо подобном. И не из каких-то особых соображений — Вам известна моя граничащая с легкомыслием откровенность; нет, просто абстрактные слова, какими неизбежно пользуется человек, высказывая то или иное суждение, у меня на языке распадались, как под ногой рассыпаются перестоялые грибы. Однажды мне случилось уличить в какой-то детской лжи мою четырехлетнюю дочь Катарину-Помпилию. Я хотел объяснить ей необходимость всегда говорить правду, но слова, готовые было слететь с моих губ, вдруг расплылись в таком множестве неуловимых оттенков, стали вдруг так неотличимы друг от друга, что я, пробормотав кое-как до конца начатую фразу, сказался нездоровым (со мною в самом деле сделался приступ головной боли) и, бледный, вышел, захлопнув за собой двери. Только в седле, в бешеной скачке по безлюдным полям я несколько пришел в себя.

Однако со временем эта напасть, подобно все глубже въедающейся ржавчине, усугубилась. Даже в домашней, непритязательной беседе, в разговорах, которые любой из нас ведет запросто, с уверенностью лунатика, все стало для меня настолько сомнительным, что и в них я не мог уже принимать никакого участия. Стоило мне услышать что-либо вроде: для такого-то дело кончилось хорошо или плохо; шериф Н. — дурной, а пастор Т. — хороший человек; жаль арендатора М., его сыновья моты; некто, напротив, достоин зависти, имея рачительную дочь; род таких-то входит в силу, а таких-то, наоборот, приходит в упадок, — как мною овладевала непонятная ярость, подавить которую стоило мне большого труда. Все в этих словах казалось мне недоказуемым, натянута, легковесным до крайности. Мой ум заставлял меня рассматривать всякий предмет, о каком заходила речь в таких разговорах, в чудовищных подробностях; подобно тому как однажды я увидел через увеличительное стекло кусочек кожи на своем мизинце, похожий на покрытую бороздами и рытвинами пашню, так теперь выходило у меня с людьми и их поступками. Мой взор уже не мог упрощать их, как велит нам привычка. Все распадалось у меня на части, эти части снова на части, и никакое понятие не могло скрепить их. Вокруг меня было море отдельных слов, они сворачивались в студенистые комочки глаз, упорно глядевших на меня, а я вглядывался в них: они были как воронки водоворота, глядя в которые ощущаешь дурноту, а они все кружатся и кружатся, и за ними — пустота.

Я пытался искать спасения в мире древних. Платона я избегал: его метафорический взлет страшил меня. Надежды возлагал я на Сенеку и Цицерона. В свойственной им гармонии ограниченных упорядоченных категорий я думал вновь обрести равнове-

сие. Но пропасть между ними и мной оказалась непреодолимой. Они были понятны мне, эти категории, я прозревал чудную игру их взаимосвязей — так золотые мячики пляшут в струях великолепных фонтанов. Я мог обозреть их со всех сторон, наблюдая игру струй. Но они существовали сами по себе; сокровенное, сугубо личное моей мысли никак не участвовало в этой игре. Наедине с ними меня охватывало чувство невыносимого одиночества: мне казалось, я заблудился в парке, где нет никого, кроме безглазых статуй; я бежал, бежал без оглядки.

С той поры я веду существование, которое, боюсь, покажется Вам непостижимым, настолько оно лишено всякой духовности, всякой мысли. Такое существование, впрочем, мало чем отличается от того, которое ведут мои соседи, родственники, да и большинство поместных дворян нашего королевства, и оно не лишено мгновений радостных и животворных. Мне будет нелегко объяснить Вам, в чем заключаются эти мгновения, слова снова не идут ко мне. Ибо в такие моменты мне объявляется нечто совершенно не поддающееся обозначению, а возможно, и не терпящее никакого обозначения, изливается, как в сосуд, в какую-нибудь обыденную мелочь бьющим через край током высшей жизни. Прошу Вас, будьте снисходительны к моим не слишком толковым примерам, но без них я рискую остаться непонятым. Этим сосудом откровения может стать все: забытая лейка, брошенная на пашне борона, собака, греющаяся на солнце, убогое кладбище, калек, крестьянская хижина — каждый из этих предметов, как и тысячи прочих им подобных, мимо которых взгляд обычно скользит с будничным равнодушием, в какой-то момент, приблизить который я не властен, внезапно может принять возвышенный и трогательный облик; наша речь слишком бедна, чтобы описать его. Непредсказуемый выбор свыше может пасть даже на отчетливое представление о каком-нибудь отсутствующем предмете, и тогда стремительно и мягко накатывающаяся волна божественного одухотворения наполняет его до краев. Не так давно я приказал насыпать в молочные погреба одной из моих ферм крысиного яду. Под вечер я отправился домой и, как Вы понимаете, и думать забыл об этом. Я ехал шагом, копыта коня глубоко вязли в свежеспаханной земле, ничто не привлекало моего внимания, разве что вспорхнувший неподалеку перепелиный выводок, да вдали за горбатыми полями огромное закатное солнце. И вдруг перед моим внутренним взором распахнулся этот погреб, где сражался со смертью крысиный народец. Все, все было во мне: и сладковатый, острый запах яда, пропитавший промозглый воздух подземелья, и пронзительные предсмертные крики, сплетенные в судороге бессилия тела, разбивавшиеся о замшелые стены; хаос отчаяния, безумие, рыскающее в поисках выхода, глаза, полные ледяной ярости, когда двое сталкиваются у закопаченной щели. Но что я снова ищу помощи у слов, мною же отринутых! Мой друг, вспомните Ливия, его потрясающее описание последних часов Альбы Лонги: как они бродят по улицам, которых им не суждено увидеть более, как прощаются с родными камнями... Уверю Вас, друг мой, все это было в моем сердце, и пылающий Карфаген в придачу. Но мое чувство было даже выше, оно было божественнее, стихийнее, и оно было реальностью, абсолютной, высочайшей реальностью. Там была мать, рядом с которой в последних судорогах погибали ее сыновья, и она, обратив свой взор не на умирающих, не на бесстрастный камень стен, а куда-то в пространство, а сквозь него — в лежащую за ним бездну, скрежетала зубами! Слуга-раб, в бессильном ужасе застывший близ каменеющей Ниобы, должно быть, переживал то же самое, что пережил я, когда во мне душа зверя скалилась навстречу жуткой судьбе.

Извините мне мою пространный, но не думайте, что чувство, владевшее мною, было состраданием. Если Вы так подумали, значит, пример мой был слишком неудачен. Это было много больше и, одновременно, много меньше, чем сострадание. Это

была всеобъемлющая причастность, слиянность с теми существами, или, может быть, я ощутил, как некий флюид жизни и смерти, сна и бдения на одно мгновение пронзал их — откуда? Ибо что общего с состраданием, с привычным сочетанием человеческих понятий было в другом моем наитии, когда однажды вечером, наткнувшись под кустом орешника на лейку, забытую там мальчиком — помощником садовника, и глядя на эту лейку, на наполнявшую ее темную от тени дерева воду, на жука-плавунца, перебежавшего по глади воды от одного темного берега к другому, на все это скопление мелочей, я с дрожью, пронзившей меня от корней волос и до пят, почувствовал прикосновение бесконечности, и на языке у меня шевельнулись слова, которые, я знаю, найди я их, заставили бы херувимов, в которых я не верю, спуститься на землю? Я молча ушел с того места. Прошли недели, а я каждый раз, издали заведев этот орешник, обходил его стороной, отводя глаза, робея, боясь спугнуть отзвук чуда, витавшего в его ветвях, и неземной трепет, все еще наполнявший воздух вокруг кустарника. В такие мгновения самая ничтожная тварь: собака, крыса, жук, засохшая яблоня, сбегающий с пригорка проселок, поросший мхом камень — значат для меня больше, чем самая прекрасная, самая страстная возлюбленная счастливейшей из ночей, когда-либо испытанных мною. Эти немые, а порой и неодоушевленные создания отвечают мне такой осязаемой полнотой любви, что и вокруг них для моего растроганного взора уже нет ничего неживого. Мне кажется, что все, все, что есть, все хранящееся в моей памяти, все, чего ни касаются мои, пусть даже самые сбивчивые, мысли, — все это есть нечто. Даже тяжелая драма моего мозга, кажется мне, есть нечто; в себе и вокруг себя я внимаю восхитительной нескончаемой игре зовов и откликов. И среди этих перекликающихся кусков жизни нет ни одного, который оставался бы замкнут для меня. Тогда мне начинает казаться, что в моем теле заключена бесконечная совокупность шифров, открывающих мне Вселенную. Или что наше отношение ко всему существу могло бы быть иным, более проникновенным, если бы мы начали мыслить сердцем. Но как только спадают с меня эти диковинные чары, я делаюсь бессилен сказать о них что бы то ни было; я так же мало способен разумно описать эту объемлющую меня и весь мир гармонию или мое ощущение этой гармонии, как сказать что-либо определенное о процессах в своих внутренностях или о токе крови в моих жилах.

Если не брать в расчет этих случайных странностей, природа которых, телесная или духовная, остается к тому же мне неясной, жизнь моя невероятно пуста, и мне стоит большого труда скрывать оцепенение души перед женой, а перед моими людьми — полное равнодушие к делам хозяйственным. Думаю, только основательному и строгому воспитанию, которое дал мне покойный отец, а также давнишней привычке ни минуты не терять без дела я обязан тем, что мне удастся еще поддерживать внешний распорядок моей жизни и сохранять видимость, приличную моему званию и сословию.

Я занят перестройкой флигеля в своей усадьбе и время от времени заставляю себя беседовать с архитектором о ходе его работы; я продолжаю управлять своими именьями, и мои арендаторы и слуги, хоть и заметили, вероятно, мою молчаливость, вряд ли могут упрекнуть меня в недостаточном внимании к их нуждам. Никто из них, встречая меня во время моей ежевечерней прогулки верхом, стоя у ворот своих домов и почтительно снимая шапки, не догадывается, что мой взгляд, который они привыкли ловить, сейчас с тихой тоской скользит по испревшим доскам, под которыми они обычно собирают дождевых червей, отправляясь на рыбную ловлю; через узкое зарешеченное окошко проникает в горницу, где в углу неизменная низкая кровать под пестрым покрывалом дожидается грядущих смертей и рождений; подолгу покоится

на уродливой дворняге или кошке, крадущейся между цветочных горшков; что среди всех этих грубоватых атрибутов скудного крестьянского быта он ищет нечто, чья неброская наружность, чье никем не замеченное, лепящееся к вещам присутствие, чья бессловесная сущность может стать источником таинственного, невыразимого, безграничного восторга. Ведь безымянное мое блаженство вспыхнет во мне скорее при виде пастушьего костра вдали, нежели от созерцания звездного неба; последняя предсмертная песнь кузнечика, когда от облаков, гонимых осенним ветром над опустевшими полями, веет зимой, пробудит его скорее, чем величественный гул органа. И иногда мысленно я сравниваю себя с оратором Крассом, тем самым, про которого рассказывают, будто он до такой степени полюбил ручную мурену, угрюмую, красноглазую, немую рыбу, жившую у него в бассейне, что это стало предметом городских пересудов; и когда Домиций, желая выставить его глупцом, рассказал перед всем сенатом, что Красс проливал слезы над своей умирающей муреной, Красс ответил ему: «Да, меня заставила плакать смерть моей рыбы, ты же не оплакал ни одной из обеих твоих жен».

История этого Красса с его муреной часто вспоминается мне, я вижу самого себя в этом зеркале, отделенном от меня пропастью столетий. Дело, конечно, не в том ответе, который он дал Домицию. Этим ответом он сумел расположить к себе насмешников, обратив все в шутку. Мне же важна суть, а она ничуть бы не изменилась, если бы Домиций и обливался по своим женам кровавыми слезами искренней скорби. И тогда ему все так же противостоял бы Красс, рыдающий над своей муреной. Что, кроме пренебрежительной усмешки, может вызвать подобный человек, заседающий к тому же в вершащем мировые судьбы высоком сенате? Но есть безымянное нечто, заставляющее меня питать к нему совсем иные чувства, которые мне самому кажутся нелепыми всякий раз, как только я пытаюсь облечь их в слова.

В иную ночь образ этого Красса застревает у меня в мозгу, как заноза, вокруг которой все нарыгает, пульсирует, кипит. Мне начинает казаться, что во мне самом идет какое-то брожение, со дна моего существа поднимаются какие-то пузыри, и оно волнуется и искрится, и все это — вроде лихорадочных мыслей, но таких, материя которых непосредственнее, зыбче, ярче, чем слово. И они подобны водоворотам, но если воронки слов ведут в бездны, то эти — как бы воронки в меня самого и в глубочайшие недра покоя.

Однако я чрезмерно обременил Вас, мой почтенный друг, пространным описанием необъяснимого явления, которое для прочих составляет мою тайну.

Вы сетуете по доброте своей на то, что ни одной книги под моим именем пока не дошло до Вас, «чтобы возместить Вам нехватку моего общества». Читая Ваши слова, я со всей определенностью, хотя и не без болезненного чувства, понял, что ни через год, ни через два, да и никогда более в моей жизни мне не написать никакой, будь то английской или латинской, книги. Неловко признаваться в странности, которая тому причиною. Может статься, свежий взгляд и Ваше безусловное надо мной духовное превосходство позволят Вам указать и ей место в гармоническом царстве духовных и физических феноменов. Причина эта в том, что язык, на котором мне, быть может, было бы дано не только писать, но и мыслить, не латинский, не английский, не итальянский или испанский, это язык, слова коего мне неведомы: на нем говорят со мной немые вещи и на нем, должно быть, некогда по ту сторону могилы мне предстоит дать ответ неведомому Судии.

Я желал бы в последние строки этого, вероятно, последнего письма, которое я пишу Фрэнсису Бэкону, вложить всю благодарность, все безмерное восхищение, какие я питаю к Вам, величайшему благодетелю моего духа, первому англичанину наше-

ПИСЬМО ЛОРДА ЧЭНДОСА

го времени; эти чувства неизменны в моем сердце и пребудут в нем неизменно, покуда ему суждено биться.

По Р. Х. лето 1603, 22 августа. Фил. Чэндос.

Перевод А. Назаренко.

Печатается по изданию:

Гофмансталь Г. фон. Избранное. М., 1995. С. 518–529.

Вальтер Райнер

НОВЫЙ МИР

Появляются новые художники, провозвестники нового мира. Гонимые, истязаемые, блаженные певцы гимнов, пророки чуда из чудес — этого кипящего мира, выброшенного в небеса человека, звенящих облаков, кричащих солнц, развевающихся лун, брезжащих зверей, хаотического движения, что бушуя возносится ввысь и не имеет конца*. И они взывают к вам либо поют и рыдают — исполненные космосом, что рождается в них, с каждым днем, с каждым часом новым. Они не в силах молчать, встревоженные, брошенные на вечное пере-живание. Они говорят вам о таинстве, живущем во всем: о человеке в центре мира* и в центре самого себя; о внутренней ночи, внутреннем дне, разгорающемся в них; об одиночестве, о том, что между людьми, о «Я» и «Ты» и о борьбе против внешнего, гнетущего и кошмарного. Создаваемые ими образы — это новая жизнь, зарождающаяся в них. — Взгляните на эти картины, живущие на стенах перед вами: капли воды, капли света, осколки солнца, пыль луны — увиденные и преображенные сверхчеловеческим глазом. Но созданные людьми, подобными вам, говорящими вам о вещах, которые глубочайше вас затрагивают. — Раскройте глаза! О вас идет речь! Вам нужно дать нечто, с вами нужно что-то сделать. — Объявитесь же, взволнуйтесь, узнайте свою сущность и сущность того, что в вас — где-то, возможно, погребенное под слоем пыли, оглушенное настоящим, несущественным, — но каким-то образом, где-то все же живущее в вас!

Не ищите того, к чему привык ваш слишком уставший глаз*. Не развлекаться следует вам и не скучать, не снова смотреть на то, что вы видели всегда. Не ищите изображений, красивых репродукций, сладких повторов, чистой поэзии глаз! Эти молодые художники постигли: то, что возникло в вас и стало таким, каково оно есть, — ценно, и оно погибает. И они разрушают то, что рушится, они толкают то, что падает*. Ваш чудный мир распадается! Неужели вы этого еще не заметили? Он лежит в руинах. Он распался и умер, как мертво и как должно быть мертво все механическое. Но...: жизнь над вами! Становление над вами! Сущность жива. Из разорванных в клочки форм, из освобожденных цветов, из дрожащих поверхностей и пространств, из гудящей математики хаоса заново сгущается космос, дух; из пепла, шелестя, восстает феникс и ударом своих крыльев наполняет жизнью ваш опустевший небосвод. Не ищите давно известных образов, добрых, красивых женщин, милых домиков, знакомых деревьев и дорог, родных лиц. Совершается торжество элементарного — цвета, линии, поверхности, пространства, в смутной борьбе восстающих из глубочайших оснований вечных законов. Ничто не встречает вас знакомым приветствием — если только вы не начинаете с самого начала, с самого низа, не начинаете взглядом на мир того, кто был слеп и прозрел. В этом суть! Не смотрите: прозрейте! И вы почувствуете то, что знают художники. Из искривленных или прямых линий, составленных, как во сне, поверхностей и пространств, колеблющихся или спящих цветов раздается магическая симфония. Пламя! Оно шумит, оно бушует. Именно теперь рождается солнечный шар; кристаллизуется луна; растет дом, дерево; дорога идет, одухотворенный путь, снова Зевс, источник бытия, склоняется к Леде, к земле, зачатие. — Лик формируется, ландшафт течет; из сгущающегося эфира выступает глаз; дерево теперь — действительно дерево, и не что иное. От человека, что появляется внезапно, к человеку передается вибрация, сплетаются связи. Адам и Ева. (Бог где-то далеко.) Дитя цветет, по законам становления и рождения становится и рождается семья. —